

ОТ АВТОРА

Предлежащую книгу составили работы о нескольких сочинениях нашего великого соотечественника и — совсем недавно — современника Александра Исаевича Солженицына (11 декабря 1918 — 3 августа 2008). Перечитывать Солженицына (как и Шекспира, Сервантеса, Мольера, Гёте, Вальтера Скотта, Пушкина, Тютчева, Диккенса, Гончарова, Лермонтова, А. К. Толстого, Тургенева, Фета, Некрасова, Достоевского, Островского, Л. Н. Толстого, Чехова, Томаса Манна, Блока, Ходасевича, Пастернака, Мандельштама, Булгакова, Цветаеву...) — счастье. Счастьем этим я и хочу поделиться с теми, кому близко такое отношение к литературе. Подзаголовок — «Опыт прочтения» — следует понимать буквально.

В первой части книги речь идет о тех произведениях Солженицына, что писались в 1950—1960-е годы и принесли автору всемирное признание, знаком которого стала Нобелевская премия (1970). Это «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир». 1962. № 11) и «Два рассказа» («Случай на станции Кречетовка» и «Матрёнин двор»; «Новый мир». 1963. № 1), появление которых радикально изменило литературную ситуацию в СССР и мощно сказалось на всем дальнейшем ходе российской истории. Это — роман «В круге первом», начатый еще в ссылке, видевшийся автору завершенным еще до того, как были написаны «Щ-854» (будущий «Один день...») и «Не стоит село без праведника» (будущий «Матрёнин двор»), претерпевший тактически обусловленные изменения, прочитанный благодаря сам- и тамиздату в «ослабленной» версии, восстановленный в 1968 году, но представленный читателям в своем истинном виде лишь десять лет спустя — в двух инициальных томах двадцатитомного Собрания сочинений Солженицына, которое писатель смог выстроить, лишь оказавшись в изгнании. Это — повесть «Раковый корпус» (закончена в 1967-м), за публикацию которой в отечестве писатель боролся страстно, но тщетно («Раковый корпус» широко ходил в самиздате, на Западе повесть была опубликована в 1968 году).

Работы об этих произведениях были написаны мной в 2012—2018 гг. Единственное исключение — статья «Рождество и Воскресение. О романе “В круге первом”» (1990), с которой начались мои солженицынские штудии. Хотя статья несколько сокращена, в ней видны «зерна» двух

помещенных далее работ о романе. Надеюсь, снисходительный читатель извинит мне эти переключки, как и присутствие в главе о трех рассказах некоторых мотивов, подробно прописанных в главе о «Матрёнинном дворе».

Во второй части книги публикуется без существенных изменений монография о «Красном Колесе» (первое издание — М.: Время, 2010), выросшая из сопроводительных статей к четырем Узлам «повествования в отмеренных сроках», окончательная редакция которого печаталась в Собрании сочинений, замысленном и выстроенном автором¹.

Читатель может упрекнуть меня за неполноту материала — и будет формально прав. Можно даже сказать, что книга получилась без начала, конца и вершины. Здесь нет глав, специально посвященных неоконченной повести «Люби революцию» (писалась в 1948 г. в марфинской шарашке, попытка продолжения была предпринята десятью годами позже), «двучастным рассказам» (1993—1998), повести «Адлиг Швенкиттен» (1998) и «опыту художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ». Хочется верить, что следы моих размышлений и об этих сочинениях, и о рассказах конца 1950-х — начала 1960-х годов («Правая кисть», «Для пользы дела», «Захар-Калита», «Как жаль», «Пасхальный крестный ход»), и о «крохотках», пьесах, публицистике Солженицына сказались при анализе и интерпретации трех дебютных рассказов, романа, повести и «Красного Колеса». Мне кажется, что отсутствующие в качестве прямых объектов анализа тексты всё же в книге работают, упоминания о них (пусть беглые) позволяют увидеть объемнее те сочинения, о которых говорится подробно. И наоборот: пристально прочитанные сочинения бросают свой свет на оставшиеся в тени.

Что же до «опыта художественного исследования», то здесь считаю должным процитировать главку из Пятого Дополнения — «Невидимки» — «очерков литературной жизни», посвященную Мире Геннадьевне Петровой, главному и любимому «литературному собеседнику» Солженицына в 60-е годы, незаурядному текстологу, историку и ценителю словесности²:

...изо всех моих книг к единственной она не прикоснулась сотрудничеством, — я её не прикоснул, и не просилась она: к «Архипелагу». В том жёстком самодвижении нашей истории и её неленивым рукам было не к чему прикоснуться.

И когда все три тома я принёс ей на пять дней прочесть — она, единственно только об этой книге, не сказала мне ни слова. Потому что эта книга сделалась сама — не в мастерских искусства, не вспоминая ни единого завета его, не соотносясь ни с единым правилом.

(XXVIII, 494)

Эти строки «Телёнка» обожгли меня при первом чтении. Буквально вошли в душу. Потому даже в лекциях я «Архипелаг» цитирую довольно обильно, но почти не комментирую. Нет, я вовсе не считаю, что литературоведам заказано анализировать «опыт художественного исследования», — об этой книге уже написаны глубокие работы, и, надо надеяться, число их будет прирастать. У меня пока не получается. Хотя все, что я писал о Солженицыне и говорил о нем на занятиях со студентами, просвечено сердцевинным, по моему разумению, поэтическим тезисом «Архипелага» (Часть четвертая. «Душа и колючая проволока»). Глава I. «Восхождение» — почти точный центр повествования в семи частях):

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как — добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями — она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им *носителей* зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство.

(V, 495—496)

Приведя одну цитату, чувствую, что здесь необходима и другая — из зачина Нобелевской лекции:

...вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей, — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Ещё в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: зачем нам этот дар? как обращаться с ним?

И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживёт свои формы, умрёт. Умрём — мы, а оно — останется. И еще пойдем ли мы до нашей гибели все стороны и все назначения его?

Не всё — называется. Иное влечёт дальше слов. Искусство растепляет даже захлавленную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...³

Для меня эти фрагменты «опыта художественного исследования» и Нобелевской лекции неразрывно связаны. Почему? Ответом (разумеется, приблизительным) мне видится эта книга — книга о писателе, неуклонно верившем в единство Правды и Поэзии, а потому — в будущее искусства, в частности — русской литературы.

Низко кланяюсь всем, у кого я учился думать: о Солженицыне, о словесности, о назначении и смысле искусства, о нашем прошлом, настоящем и будущем, о жизни и смерти, — ушедшим и здравствующим, близким по сей день и исчезнувшим (или почти исчезнувшим) из поля моего зрения, старшим, сверстникам и младшим. Поименный список получился бы и огромным, и наверняка неполным, но без сжатого обойтись не могу.

Александр Исаевич и Наталия Дмитриевна Солженицыны читали первоначальные варианты статей об Узлах «Красного Колеса». (Статья об «Апреле Семнадцатого» была завершена

уже после смерти Александра Исаевича; с ней работала только Наталия Дмитриевна, заинтересованно относившаяся и к другим моим работам.) Их доброжелательные и точные замечания я по мере разумения стремился учесть при доработке статей и складывании книги. Не могу найти правильных слов, чтобы выразить переполнявшее при всех наших беседах и навсегда оставшееся со мной чувство восхищенной благодарности великому писателю и его первому редактору — благодарности за мудрые и стимулирующие мысль советы, снисходительность к моим промахам, бесценное доверие.

В последние годы я посильно участвовал в подготовке альманахов «Солженицынские тетради: Материалы и исследования» (М.: Русский путь; на сегодня вышло пять книг, шестая — в работе) и солженицынских семинарах, проходящих в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына, что прямо сказалось в моих штудиях. Приношу искреннюю благодарность докладчикам (чьи выступления не пропустил), авторам «Тетрадей», сотрудникам отдела по изучению наследия А. И. Солженицына (множества эти пересекаются) и — с особым чувством — Г. А. Тюриной.

Я признателен студентам нескольких потоков бакалаврской программы «Филология» НИУ Высшая школа экономики, с которыми *медленно читал* рассказ «Матрёнин двор» (вводный курс «Ключевые тексты русской литературы») и/или обсуждал прозу Солженицына (заключительный этап курса «История русской литературы»). Сердечно благодарю выпускницу бакалавриата (ныне — магистрантку) Н. А. Бересневу, автора замечательных — никак по уровню своему не студенческих! — исследований, посвященных рассказу «Случай на станции Кочетовка» и поэме «Дороженька». Надеюсь на продолжение нашей совместной работы.

Меня глубоко тронула теплота, с которой руководители издательства «Время» откликнулись на предложение издать еще одну — уже девятую по счету — мою книгу. Большое спасибо А. М. Гладковой и Б. Н. Пастернаку.

Наконец, книга эта просто не сложилась бы, не ощущай я поддержки, веры в осмысленность моих занятий, сочувствия, проще говоря — любви. И потому всем сердцем благодарю мою жену Яну, дочерей Аню, Машу и Лизу, сына жены Сережу, Г. А. Антипову и Н. Н. Зубкова, Е. А. Кантор-Казовскую, Т. Ю. Кибирова, Л. Н. Киселеву (по ее настоянию

я в далеком уже 2001 году прочел свой первый солжени-
цынский спецкурс — в Тартуском университете, но дело
далеко не только в этом), В. А. Мильчину, О. В.
и К. М. Поливановых, Л. И. Соболева, С. И. Чуприна, Е. Я.
и А. Д. Шмелевых.

Август 2018

Часть первая
РАССКАЗЫ. РОМАН. ПОВЕСТЬ

Глава I

ВСЯ ПРАВДА

Три дебютных рассказа

Это случилось 17 ноября 1962 года. К подписчикам пришла очередная книжка «Нового мира». Одиннадцатый номер журнала открывала подборка лирики Эдуардаса Межелайтиса. За ней следовала повесть «Один день Ивана Денисовича». Имя автора абсолютному большинству читателей было неизвестно, а потому ничего обещать не могло. Ясность вносила заметка «Вместо предисловия» за подписью главного редактора самого свободного из выходящих в стране журналов поэта А. Т. Твардовского: «Жизненный материал, положенный в основу повести А. Солженицына, необычен в советской литературе. Он несет в себе отзвук тех болезненных явлений в нашем развитии, связанных с периодом развенчанного и отвергнутого партией культа личности, которые по времени хотя и отстоят от нас не так уж далеко, представляются нам далеким прошлым <... > Читатель не найдет в повести А. Солженицына всеобъемлющего изображения того исторического периода, который, в частности, отмечен горькой памятью тридцать седьмого года. Содержание “Одного дня”, естественно, ограничено и временем, и местом действия, и кругозором главного героя повести. Но один день из жизни лагерного заключенного Ивана Денисовича Шухова под пером А. Солженицына, впервые выступающего в литературе, вырастает в картину, наделенную необычайной живостью и верностью правде человеческих характеров. Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве “зэков”, читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний»¹.

В заметке Твардовского ощутимы и тактические извороты советского редактора (кандидата в члены ЦК единственной в стране всевластной партии), и напряженные внутренние противоречия истинного поэта (автора «Василия Тёркина»). Но важны нам сейчас не они, а тот простой смысл, который Твардовский хотел донести до любого человека, открывающего книжку «Нового мира», — напечатана *та самая* «повесть о лагерях», вести о которой клубились

несколько последних месяцев не только в литературных кругах столицы. Дело — за вами, читайте.

Немногим ранее (19 сентября) Л. К. Чуковская спросила Анну Ахматову, «читала ли она “Один день з/к”² и что о нем думает».

— Думаю?.. Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть — *каждый гражданин* из всех двухсот миллионов граждан Советского Союза.

Она выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляла приговор³.

Увы, «Один день...» прочитали далеко не все граждане СССР. Но масштаб события поздней осенью 1962 года ощутили весьма многие. Вот как много лет спустя, в совсем иную эпоху (1998), вспоминал о том в личном письме Солженицыну С. С. Аверинцев (в 1962-м — недавний выпускник филфака МГУ; позднее — один из крупнейших русских гуманитариев XX века):

С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история еще не кончилась! Чего стоило идти по Москве домой из библиотеки, видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же разошедшийся журнал! Никогда не забуду одного диковинно, по правде говоря, выглядевшего человека, который не умел выговорить название «Новый мир» и спрашивал у киоскёрши: «Ну, это, где вся правда-то написана!» И она понимала, про что он; это надо было видеть, и видеть тогдашними глазами. Тут уж не история словесности — история России⁴.

Косноязычный «человек из толпы» словно бы расслышал Ахматову, великого поэта, легитимно наследующего Пушкину, Достоевскому и Толстому. Двести миллионов обязаны прочесть «Один день...» и выучить его наизусть (то есть, прожив с Иваном Денисовичем от подъема до отбоя, сделать его день неотъемлемой частью собственного сознания), ибо в рассказе этом «вся правда». *Вся* — вопреки корыстным и бессовестным указаниям советских критиков на то, что «годы, которые мы называем периодом культа личности, были весьма сложными и противоречивыми», а Иван Денисович не может «претендовать на роль народного

типа нашей эпохи»⁵. Вся — вопреки тактически обусловленным замечаниям защитников рассказа (начиная с Твардовского), напоминающих о том, что нельзя объять необъятное⁶. Вся — ибо правда не знает количественных критериев.

Мы понимаем, что *все события*, произошедшие за годы большевистского владычества в России, на шестидесяти шести журнальных страницах описать невозможно. Мы видим воочию, что состоящий из семи частей «Архипелаг ГУЛАГ» обычно укладывается в три объемных тома, а четыре Узла «Красного Колеса» — в десять. Но мы знаем, что задуманные прежде создания «Одного дня...» «опыт художественного исследования» коммунистической тирании и духовного ей сопротивления и роман о революции (ставший «повествованием в отмеренных сроках») смогли осуществиться, обрести свою художественную, религиозно-этическую, историософскую полноту вследствие того, что их автором был написан рассказ об одном дне одного зэка⁷.

В «очерках литературной жизни» Солженицын рассказывает о том, как редактор отдела прозы «Нового мира» А. С. Берзер представила Твардовскому сверх-рискованную рукопись неведомого автора: «“лагерь глазами мужика, очень народная вещь”. <...> в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского». Чуть ниже Солженицын пишет: «...верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его dokonная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелом, да и пораннее» (XXVIII, 23)⁸.

В интервью для Би-би-си к двадцатилетию рассказа (1982) Солженицын подчеркивал, что для появления «Одного дня...» в советской печати «нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей. Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора — нет, повесть эта не была бы напечатана <...> И если бы не было Хрущёва в тот момент — тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал бы Сталина ещё один раз — тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали

подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня <...> Да, и Твардовский, и Хрущёв, и момент — все должны были собраться вместе»⁹.

Всё так. Но для того, чтобы Твардовский и Хрущёв не остались равнодушными к Ивану Денисовичу, нужно было, чтобы они его *увидели*. Нужно было представить в «Новый мир» именно эту «очень народную вещь». А прежде того — ее написать.

Если искать в истории русской литературы дебюты, поэтическая мощь которых сопоставима с «Одним днём...», то на ум сразу приходят «Бедные люди» и «Детство»¹⁰. Аналогия соблазнительная, но с большим изъясном. Достоевский и Толстой не только написали, но и увидели напечатанными свои шедевры, не достигнув двадцати пяти лет. Солженицыну в 1959 году, когда был написан рассказ «Щ-854», исполнилось сорок. И в отличие от великих предшественников он не был начинающим. В марфинской шарашке (1948—1950) писалась повесть «Люби революцию» (первоначально — «История одного дивизиона»; осталась неоконченной); в Экибастузском особом лагере устно сочинялась огромная повесть в стихах «Дороженька» (1950—1953; начата в 1947)¹¹; там же и в ссылке (1953—1954) сложилась драматическая трилогия — «Пир победителей» — «Декабристы без декабря» («Пленники») — «Республика труда» («Олень и шалашовка»). К исходу пятидесятых был завершён роман «В круге первом» (начат ещё в ссылке; позднее перерабатывался). При всех несомненных тематических, жанровых и стилистических различиях все эти вещи (исключая, и то не в полной мере, трагедию «Пленники») строятся на отчетливо автобиографической основе. Их герои (вплоть до протагониста романа «В круге первом») — *ровесники* революции, интеллигенты, семейными узами связанные с исчезнувшим докатастрофным миром, но сформированные миром новым. «Суммировав» ранние сочинения Солженицына, мы получаем своего рода «роман воспитания»: иллюзии отрочества и юности (любовь к революции и надежда на ее скорое торжество в мировом масштабе); проигнорированные или оправданные «исторической целесообразностью», но запавшие в память столкновения с советским злом; «странности» начального этапа войны; фронтовые будни, заставляющие все более трезво оценивать советскую действительность; арест, следствие и низвержение в лагерную бездну. Как это свойственно весьма многим начинающим авторам,

Солженицын писал о себе, своих заблуждениях и прозрениях, своей судьбе. «Щ-854» был рассказом о другом.

В интервью Н. А. Струве (март 1976) писатель вспоминал: «Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём <...> достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё». Гениальная догадка вспыхнула на «месте действия», когда «было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака. И вот уже <...> в 59-м году, однажды я думаю: кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она лежала так просто. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел — и как полилось! Со страшным напряжением¹²». Работа над рассказом заняла сорок два дня — с 18 мая по 30 июня.

В другом интервью Солженицын относил замысел не к 1952, а к 1950 году¹³ — допустимо предположить, что мысль о рассказе приходила к каторжанину не раз. Существенно, однако, что в обоих случаях сильное композиционное решение («один день») подразумевает особого рода героя. В 1982 году об этом говорится подробнее: «Ивана Денисовича я с самого начала так понимал, что не должен он быть такой, как вот я, и не какой-нибудь развитой особенно, это должен быть самый рядовой лагерник. Мне Твардовский потом говорил: если бы я поставил героем, например, Цезаря Марковича, ну там какого-нибудь интеллигента, устроенного в конторе, то четверти цены бы той не было. Нет. Он должен быть самый средний солдат этого ГУЛАГа, тот, на кого всё сыпется»¹⁴.

Дело, однако, не сводится к тому, что в герои «полного» повествования о лагере не может быть взят «привилегированный» зэк. Каковы бы ни были личные человеческие качества того или иного «конторщика», жизнь их устроена существенно иначе, чем у вкальвающего *на общих* большинства. Но ведь замысел «Одного дня...» возник у выпускника университетского физмата, бывшего офицера, бывшего шарашечника, не оставляющего мысли о писательстве, когда он носилки таскал! Как таскают их однобригадники Ивана Денисовича — бывший «начальник» Фетюков и бывший кавторанг Буйновский. «Не придурок» — условие для выбора героя *необходимое*, однако счастье его

и *достаточным* было бы серьезной ошибкой. «Странным образом, героя я взял — фамилию и наружность — своего солдата из батареи, вовсе не зэка, он никогда в лагере не сидел <...> А биографию я уже брал от других и все события жизни еще от третьих, от четвёртых». Шухов, по свидетельству его создателя, «образ собирательный»¹⁵, но это вовсе не означает «безликий» или «усредненный». Ощутимая с первых строк и становящаяся по мере движения рассказа все более ясной индивидуальность героя сложно соотнесена с его «анкетными данными». Шухов — разменявший пятый десяток русский крестьянин (мужик), что до войны из своей деревни Темгенёво не выбирался, на фронте был рядовым, а в лагерях мается без малого восемь лет.

Возраст героя упоминается дважды. В первый раз: «Шухов же сорок лет землю топчет...» (37), но, похоже, во внутренней речи героя возраст естественно округлился. Ниже говорится, что бригадир, называющий Шухова и Кильдигса «ребятами», «был не старше их» (43). Бригадиру, согласно его рассказу, в 1930-м было двадцать два года (62), следовательно, родился он в 1908-м, в начале 1951-го (время действия) ему 42 года. Не так уж важно, родился Иван Денисович в 1908-м или в 1911-м, — он должен помнить дореволюционную жизнь (хотя бы смутно) и точно помнит, как «по-без-колхозов» ели в деревне «мясо — ломтями здоровыми» (40) и какой у него был мерин, в колхозе быстро стинувший (74). Он знает, что живет под чужой властью — жестокой, жадной, глупой. Хоть в деревне, хоть на фронте, хоть в лагере.

Не на каторге Шухов усвоил: «для людей делаешь — качество дай, для начальника делаешь — дай показуху» (21). И в размышлениях его о том, как идет теперь жизнь в родной деревне, искреннее недоумение (мужики «живут дома, работают на стороне») не отменяет верного взгляда на суть происходящего — «видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы» (36, 37). Передавая думки шагающего на объект Шухова, Солженицын играет на тонких семантических различиях близких глаголов: «жизни их не поймешь», «никак не внять», «и не понять никак» и, наконец, «этого он не может принять» (36). Главное про свою и других обычных людей жизнь Шухов отлично понимает (если что и меняется в ней, то либо для видимости, либо к худшему), «вникать» в придумки начальства ему незачем (коли есть у тебя «добрые руки», то «верную работу» найдешь), а вот «принять» этот

извращенный мир Иван Денисович не может. Потому что, кроме страшного социального опыта загнанного в колхоз мужика, солдата-окруженца, вырвавшегося из плена, чтобы быть назначенным в «шпионы», доходящего в Усть-Ижме зэка, пронумерованного каторжанина, есть у Шухова и иной опыт — опыт свободного человека, просто и твердо различающего добро и зло, умеющего и любящего работать, изначально расположенного к другим и понимающего, что люди — разные, не теряющего собственного достоинства.

Это Шухов-то? Шухов, что, *закосив* две миски, ждет, когда помбригадира дозволит ему из одной кашу выскрести. Бежит занимать Цезарю очередь за посылкой. Почтительно благодарит Татарина, когда тот милостиво его «прощает» — не загоняет в карцер, а велит всего лишь пол вымыть. Ломает перед надзирателями шапку, а то и за угол прячется, чтоб на глаза не попасться. Стояет в столовой с места двух доходяг. Выцганивает поднос, который был обещан другому. Покрикивает за работой на подносчиков и костыляет в спину заленившегося (обессилевшего) Фетюкова. Вместе со всей толпой зэков готов разорвать не поспевшего к выходу из рабочей зоны молдавана, забыв, что совсем недавно точно так же и ровно за то же готовы были расправиться с ним и Сенькой Клевшиным. Не разделяет праведный гнев кавторанга на разводе. Посмеивается над непонятно лопочущими москвичами. Не благодарит Господа, когда исполнилось по его молитве — не заметил надзиратель спрятанную в рукавице ножёвку. Хуже того, объясняет Алёшке: «сколько ни молись, а сроку не скинут» (111). «От работы лошади дохнут» (26). «Особый — и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера» (53). «Двести грамм жизнью правят» (48). Это ведь все тоже мудрость Ивана Денисовича. И разве не страшен его ответ на вопрос, что и вопросом-то для Шухова быть перестал: «Кто арестанту главный враг? Другой арестант» (85).

Кто сказал «а», должен сказать «б», то есть: «Подохни ты сегодня, а я завтра!» (107). Но мысль Шухова идет совсем в другую сторону: «Если б зэки друг с другом не сучились, не имело б над ними силы начальство» (85). А бесчеловечное «правило» вспоминается именно в том эпизоде, где приобыкший к лагерю мужик пожалел «богатого», но бестолкового умника-москвича. «Не заработать ещё от Цезаря хотел, а пожалел от души». *Трижды* звучит это слово, отменяющее норму «зверохитрого племени». Ох, не случаен здесь этот эпитет! Как не случайно, что здесь же Иван

Денисович называет месяц «волчьим солнышком» — и выходит из первых греться на донимавший его весь день мороз (107). Зачем? А он первым после поверки вскочит в барак, чтобы сберечь беспризорную посылку (еду!) соседа.

«Если б эки друг с другом не сучились...» В усталом вздохе разом слышны недоверие к прекраснодушной мечте и глубинное знание о том, что в этой же несбыточной мечте — ответная правда. Сходное двоящееся чувство завладевает Шуховым и раньше (сцена строительства): «Безотказный этот Алёшка, о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит — отчего не пособить? Это верно у них» (73).

«У них» — у баптистов. О том, что Алёшка верующий, получил за то двадцать пять лет, а лагерь с него «как с гуся вода» (38), мы уже знаем. Спор Алёшки с Шуховым впереди. Но ведь верно ведет себя не только уповающий на Бога Алёшка. Как Иван Денисович пожалел Цезаря даже и без его просьбы, так Сенька Клевшин дожидается Шухова, пока тот заначивает свой мастерок (решает «личную проблему»). «Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе» (76).

Шухов, Алёшка, Сенька Клевшин и многие другие эки в лагерном аду остаются людьми, сохраняют высокие (или просто нормальные?) душевные свойства — способность сострадать другому и понимать его, верность национальному чувству (особенно выразительно явленная «братьями»-эстонцами), трудовую этику (понимаемую Кильдигсом, кавторангом, Павлом весьма по-разному, но во всех «изводах» вызывающую уважение), глубинное неприятие наличествующего — долгие-долгие годы — бесчеловечного уклада. (Комический бунт ратующего на разводе за законность кавторанга, без сомнения, противопоставлен печально-ироничной трезвости Шухова и других опытных эзков, но оттого единство нравственного чувства глубоко различных персонажей не исчезает; к «шакалу» Фетюкову брезгливо относится не только привыкший начальствовать кавторанг, но и — в большей части рассказа — Иван Денисович.) Наше сочувствие отменно ориентирующемуся в лагерном пространстве бригадире Тюрину и наивно лезущему на рожон кавторангу, замкнутым друг на друга «братьями»-эстонцам и не устающему смеяться над советской глупостью Кильдигсу, глухому бедолаге Клевшину и «удачнику» Цезарю, терпеливцу Алёшке и плутоватому Гопчику обусловлено не только тем, что они лишены

свободы, оторваны от родных, обречены на голод, холод, унижения, изнурительный (и часто бессмысленный) труд, провоцируются всем лагерным (и не только!) порядком на расчеловечивание. Десятнику Дэру, Хромому, Шкуропатенке, старшему бараку («вот еще сволочь старшая» (106)), стукачу Пантелееву и еще много кому мы *не* сочувствуем. Ибо всех насельников лагеря видим глазами Шухова, которому крепко запомнились слова его первого бригадира, Кузёмина:

Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подышает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать.

Насчёт кума — это, конечно, он загнул. Те-то себя берегают. Только береженье их — на чужой крови.

(15)

Наставление Кузёмина возникает в самом начале рассказа. И хотя правила «старого лагерного волка» сразу прирастают усмешливой и грустной оговоркой, суть их остается в силе. Позже мы узнаем, сколь опасен соблазн санчасти (останься болевающий Шухов в зоне «на свой страх», попал бы он в БУР, где едва ли бы перемогся). Узнаем, что «шакал» может вызвать сострадание: вопреки презрению к Фетюкову, приступы которого вспыхивают у Шухова весь день, увидев вечером побитого «за миски» собригадника, Иван Денисович думает: «Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить» (103). Узнаем: «береженье на чужой крови» теперь чревато кровавым возмездием, что Шухова удивляет («Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было» (53), но не страшит, хотя знает он, что мстители зарезали и «работягу невинного — место, что ль, спутали». Кто застрахует Ивана Денисовича или иного честного работягу (да хоть бы и «придурка») от подобной ошибки? Но — в отличие от Фетюкова — Шухов этой опасностью не встревожен. И к убитым жалости не испытывает, словно бы принимая формулировку Павла: режут «нэ людын, а стукачив». Всё же *словно бы*: прямо ничего подобного в думках Шухова не отмечается, но ведь и спора он не затевает. Может, и есть у него какое-то сомнение (у автора оно, безусловно, есть!), но важнее ощущение черты, здесь и сейчас отделяющей людей от нелюди. Жизнь (в том числе — лагерная) не укладывается в сколь угодно проверенные правила, но и не может обойтись без ясного различия добра и зла. Считай Иван Денисович, что все эски волки, не смог бы он (а за ним

мы) различать неповторимые лица тех, кто его окружают. Шухов — различает. И видит за лицами — судьбы, из которых по ходу рассказа, словно бы сама собой, складывается трагическая история пореволюционной России.

За ужином Иван Денисович, которому вроде бы ни до чего сейчас нет дела, все же замечает высокого старика Ю-81. И тут же невольно припоминает: «Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько власть советская стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали». Так мы узнаем и о неизменности советской системы, и о духовном сопротивлении несломленного человека, выделяющегося среди «пригорбленных» лагерников сохранившейся «прямышной спины». «Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стираную» (98—99).

Вслушивается Шухов в медленный рассказ бригадира Тюрина, в который вместились коллективизация (высылка кулацких семей, исключение из нормальной жизни кулацких детей), кировский поток, ликвидация тех, на ком долго держался режим, в ходе Большого террора («Перекрестился я и говорю: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”») (62—64).

Судьбы Павла и Гопчика — свидетельства украинского сопротивления большевикам. Судьбы Кильдигса, торгующего табаком прижимистого латыша, «братьев»-эстонцев — свидетельства «зачистки» аннексированных балтийских государств. Узник Бухенвальда Сенька Клевшин представляет за военнопленных, которым удалось выжить в нацистских лагерях, «бывший Герой Советского Союза», залезший на столб, чтобы разглядеть показания термометра, — за офицеров, освободивших Россию и Европу, но не успевших стать декабристами, кавторанг — за тех, кому досталось во время войны иметь дело с союзниками, теперь назначенными ответными лютыми врагами¹⁶, Цезарь — за космополитическую интеллигенцию... «Один день...» втягивает в себя не только шуховскую десятку, не только историю закрепощенного советского крестьянства (беглые, к случаям всплывающие, воспоминания Ивана Денисовича

и письма из деревни Темгенёво), но — повторим и подчеркнем — всю подсоветскую историю.

Увидели бы мы эту историю в такой полноте и достоверности, избери Солженицын другого героя? Нет, не увидели бы. Как не видят Шухова с миской каши в руках Цезарь Маркович и (ровно так же!) «двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик» — похоже, убежденный противник режима — Х-123, спорящие о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». У каждого из них своя мысль и стоящая за ней картина мира. Как и у кавторанга, мучительно обживающегося в лагере. Как у латышей, эстонцев, украинцев и других «националов» (они попали в абсолютно чужое пространство и, естественно держась друг за друга, столь же естественно по возможности игнорируют все здешнее). Как у «шакала» Фетюкова, тщащегося выжить любой ценой. Как у бригадира Тюрина, что в «доброй душе» (62) может, почти не обращая внимания на слушателей, рассказать «как не о себе» (63). На самом деле — именно о себе, давая себе редкий роздых от многолетней — заставляющей выть по-волчьи — бригадирской колотьбы. Как у Сеньки Клевшина, у которого отбит слух (что, разумеется, не случайная деталь, а скрытый символ), возвращающийся к нему лишь в экстремальной ситуации (когда прибегающих последними на построение Шухова и Клевшина встречает остервенелое улюлюканье пяти сотен эзков (76)). Как у Алёшки, отрешившегося от всего мирского, до конца вверившегося Богу. Конечно, все они (кто больше, кто меньше) временами *видят* Шухова (Цезарь вовсе не плохо относится к услужливому Денисычу), но иначе, чем заглавный герой рассказа каждого из них. Конечно, каждый из второстепенных персонажей «Одного дня...» мог бы стать протагонистом другого рассказа, но именно что *другого* — рисующего отдельную человеческую судьбу и, возможно, стоящую за ней историю конкретной социальной, национальной, возрастной группы. Но никак не общую нашу историю.

Мужицкая неприметность Шухова органически сопряжена с его *приметливостью* — основанной на долгом (не только лагерном) опыте, трезвой, часто усмешливой, но основанной на уважении к другим (совсем не похожим на Ивана Денисовича!) людям, на скрытом знании о великой ценности всякого человека, покуда теплится в нем что-то человеческое. Благодаря Шухову мы видим живых людей, а не нумерованных рабов. И каждое живое человеческое лицо

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru